

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДНЕВНИКИ ВОСПИТАНИЦ



КАК ЖИЛИ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

Как жили женщины разных эпох

Коллектив авторов

**Смольный институт.
Дневники воспитанниц**

«Алисторус»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Коллектив авторов

Смольный институт. Дневники воспитанниц / Коллектив авторов — «Алисторус», 2017 — (Как жили женщины разных эпох)

ISBN 978-5-906880-71-0

По указанию Екатерины II в первом женском образовательном учреждении должны были возвращаться «девицы новой формации» для того, чтобы образованные и культурные выпускницы, став супругами достойных мужей, произвели на свет «совершенного человека». Режим в Смольном походил на тюремный: благородные девицы жили по девять человек в одной комнате, рано ложились спать и рано просыпались, без конца находились под пристальным взглядом надзирательницы, питались скудно. Только богатые девочки могли себе позволить за дополнительную плату пить чай в одной комнате с педагогами или заплатить сторожу, чтобы он в голенище сапога таскал им из ближайшей лавки запретные сладости. Обо всех подробностях жизни воспитанниц Смольного рассказывает эта книга. Объединенные под одной обложкой воспоминания знаменитых выпускниц института как нельзя лучше рассказывают о том, как проходила жизнь смолянок. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-906880-71-0

© Коллектив авторов, 2017

© Алисторус, 2017

Содержание

Софья Дмитриевна Хвощинская. 1824–1865. Воспоминания институтской жизни	7
Конец ознакомительного фрагмента.	28

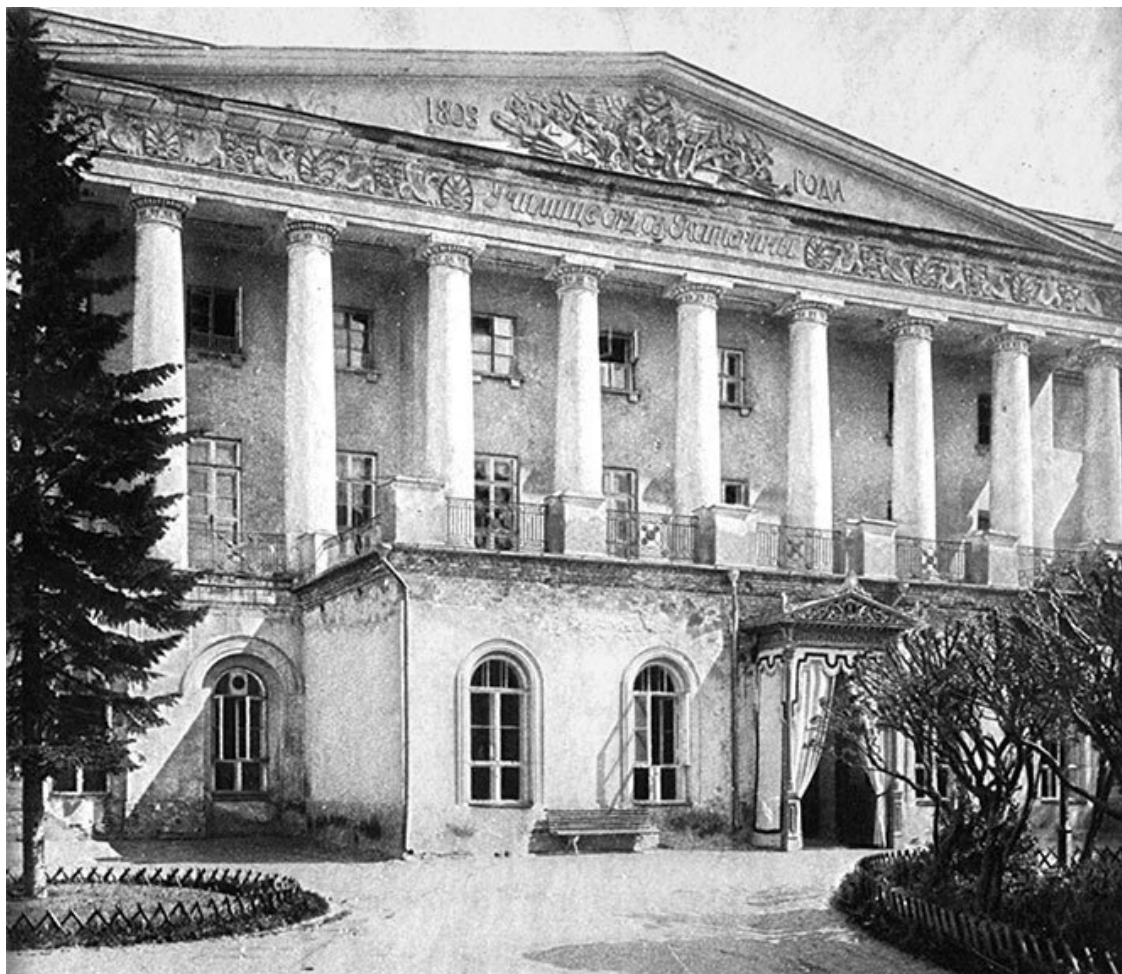
Смольный институт. Дневники воспитанниц

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Софья Дмитриевна Хвощинская. 1824– 1865. Воспоминания институтской жизни

...Недавно случилось мне встретиться с тремя бывшими сверстницами по Московскому Екатерининскому институту. Мы не видались с самого выпуска, и теперь, вместе, как-то живее припоминалось старое время.

Это старое время ушло очень далеко. Мы кончили курс около шестнадцати лет тому назад. С тех пор уже всеми нами прожита лучшая часть жизни, и у каждой из нас она вышла такая особенная, такая непохожая на жизнь другой, и так мы стали несходны ни в характерах, ни в образе мыслей, ни в малейшем движении, – что невольно обратились к прошлому. Казалось, каждая, не узнавая друг друга, хотела допроситься у этого прошлого, почему ж не осталось между нами хоть тени, хоть самой маленькой тени сродства? Шесть лет под одною кровлей, единственно отданных воспитанию, совершенное равенство этого воспитания, глубоко обдуманного, строго выполненного, и с такою определенною целью – приготовить будущих членов семейства, общества. Казалось, как бы не уцелеть хоть общим чертам этого приготовления? Если не из чего другого, то Институт наш – заведение первоклассное, стоит выше всех частных пансионов, выше других институтов. У нас допускаются только самые благородные девицы, только одной шестой дворянской книги. Ясно, что это правило всегда имело целью украшать вершущки общества такими представительницами, которые могли бы служить примером женщинам более смиренного круга. Ясно, что для выполнения этой цели были потрачены на нас всевозможные заботы. Мы, конечно, должны были оправдать их, выйти тем, чем в институте желали, чтобы мы вышли. Институтские правила и склад должны были сберечься в нас, как неоцененный дар, чрез все житейские перевероты. Нам следовало бы узнавать друг друга с полуслова. Но вышло иначе. Встретясь, мы заметили, что стали так разнохарактерны, как будто учились на противоположных концах земного шара.



Московское училище ордена св. Екатерины, также Московский Екатерининский институт благородных девиц, – одно из первых женских учебных заведений в России

Странно, эта встреча была похожа на первую, когда нас, «новеньких», только что свозили учиться тоже с разных концов родины... Из глубины пустынных деревень, из уездных городов и губернских, и тут же, из переулков и аристократических улиц самой Москвы, родители привозили девочек. Святилище знания гостеприимно растворяло пред ними двери...

Какое далекое время! С тех пор, конечно, многое изменилось в институте. Не знаю; с самого выпуска мне не удалось быть там ни разу...

Я была своекоштная, или, как говорят у нас, «своя». Своекоштные съезжались раньше казенных; те должны были поступать по баллотировке, в августе, после летней вакансии. Некоторых «своих» отдавали еще в феврале и марте, то есть в самое время выпуска кончивших курс и перемещения меньшего класса на их место в старшие отделения. В то время институтский курс разделялся таким образом: два класса, меньшей и старший; в каждом ученицы должны были пробыть по три года; в классах по три отделения, 1-е, 2-е и 3-е в старшем, 4-е, 5-е и 6-е в меньшем. Приемной программы для поступления не было. Если «новенькая» девочка, казалось, знала что-нибудь, особенно если говорила порядочно по-французски или по-немецки, и к тому же, имела выдержанные манеры, ее сажали в четвертое отделение. Минут пять экзамена решали дело. Из этого четвертого отделения, высшего по наукам в маленьком классе, девицы прямо переходили в первое отделение старшего. Туда же они уводили с собою и своих классных дам, на все остальные три года. Девочек, смотревших робко, с намеками на знание священной истории и французских слов, с физиономиями, обещавшими почему-то исправиться, сажали пятое отделение, откуда они шли во второе. Девочек, с физиономиями совсем туск-

лыми или уже некстати острыми, когда все их познания заключались в одной грамоте, таких девочек отводили в шестое отделение. Оттуда все они, с редкими исключениями, переселялись в третье отделение и клеймились грустным прозвищем дритток. Там программа учения едва равнялась с программой высшего отделения маленького класса. Было еще в институте крошечное отделение, седьмое, куда помещали совсем безграмотных, или крошек, которым суждено было пробыть девять и больше лет вместо шести. Последние еще достигали почетных скамеек, но первые непременно кончали дриттками. Таким образом все дальнейшие познания девиц зависели все-таки от того, чему девочку выучили прежде, дома, а между тем, институт не требовал никакого приготовления заранее, ни по какой программе. Институт вполне брал на себя обязанность выучить нас так, как лучше уже не могут быть выучены женщины в России...

Нас привозили, но пора стояла хлопотливая, шумная; готовился выпуск, а наше время было все впереди. Нас кое-как, внаглядку, рассадили покуда с воспитанницами, которые недели через две-три, должны были уйти в старшие отделения.

Я попала в четвертое. Первое мое впечатление было ужасно смутно. Определить его едва ли не труднее, чем вспомнить первые сознательные минуты раннего детства... Длиннейшие коридоры, огромнейшие залы, бесконечные дортуары, лестницы и лестницы, – простор и уют после домашней тесноты; запах курения уксусом, и с ним еще другой, кислый с сыростью, от мокрых полов, вымытых шваброю, – запах, который с первой минуты навеки остался у меня в памяти и почему-то стал неразлучен с мыслью обо всем казенном... Я убедилась, что я в другом мире, а о том, где жила прежде, уже и думать нельзя, да его уже и вовсе нет; я даже ни о чем не жалела. Покуда меня вели к директрисе, я оглядывалась на однообразную, беспредельную желтую краску стен, и (как теперь помню) мне вообразилось, что это должно быть такое место, где ничего не едят. Лицо директрисы мне очень понравилось. Я никогда, ни прежде, ни после, не встречала почтенной женщины прекраснее ее. У нее был гордый вид, но он не отталкивал, а напротив, подчинял себе невольно. Она очень мило сморщила на меня брови, улыбнулась покровительственно и ласково и, кликнув какую-то пепиньерку (воспитанница закрытого женского учебного заведения, окончившая его и готовящаяся к педагогической карьере), игравшую в ее зале на фортепьяно, велела отвезти меня в класс. Мать моя оторопела за меня. Это была минута разлуки. Мать робко заплакала, я ее целовала почти равнодушно. От взгляда ли чужого лица, от чужих ли комнат кругом, только во мне не осталось никакого чувства. Я даже не заметила, как уехала моя мать. Директриса сама подала ей знак прощанья.

Меня увели в четвертое отделение. Мой приход прервал на минуту урок; сделалось маленькое замешательство. Солнечный свет ударил мне в глаза, – я ничего не могла разобрать. Пепиньерка сказала что-то кому-то сидевшему в простенке; оттуда вышла дана и взяла меня за руку. Она стала тихонько протискивать меня между сидевшими девицами и их пюпитрами, и наконец сказала: «ici». Я села. С обеих сторон на меня глядели соседки, беленькие, в беленьких фартуках и с голыми шейками. Мое пестрое платьице, казалось, им не нравилось. Помню, однако, что оно было сшито по моде, а зеленые камлотовые платья на девицах были вовсе не модны... Кое-как, однако, я осмотрелась. Классная комната была далеко не нарядна; желтые штукатурные стены, обвешанные плохими ландкартами; две черные доски на станках, исчерченные мелом, и ряды скамеек с пюпитрами, горою возвышавшиеся от середины комнаты до стены. Скамейки, выкрашенные темно-зеленою краскою, смотрели немного мрачно... В простенке был такой же крашенный столик, и за ним сидела классная дама; другой столик стоял посреди комнаты; и за ним сидел учитель. Девицы, на скамейках впереди меня, смотрели не шевелясь на учителя. Я вглядывалась, как искусно были они причесаны, в две косички, когда над моим ухом произнесли: «écoutez le maître, mademoiselle...» Классная дама воздушно проходила между рядами.

Я начала слушать. Шел урок русского языка. Учитель, краснощекий, плотный старик с черными бровями, объяснял что-то, и вдруг сказал: «г-жа Мезинцева».

Я обернулась и чуть не ахнула. Рядом с девицей, ставшей на самой высокой скамейке, чтоб отвечать, сидело маленькое существо, от которого была видна одна голова. Это была моя кузина, Варенька Г.

Мы жили в одном губернском городе, и я знала, что Вареньку тоже отдадут в институт; но ее родные прежде нас уехали в Москву. Варенька, как она сказала мне потом, поступила только часом раньше меня. С высоты своей скамейки она увидела мой взгляд и весело кивнула мне головой. Затем она не глядела на меня больше, наострив глаза и уши на учителя.

Варенька была девочка крошечная ростом и прелестная собой; я ее ужасно любила. Еще дома у нее была страсть учиться, пылкая страсть, не то что наше обыкновенное детское желание знать урок, чтоб избежать наказания. Книжка или серьезный разговор имели для Вареньки такую притягательную силу, что часто нам, сверстницам, приходилось просто тащить ее к себе, за ее длинные косы. Она и для нас была золото. Она устраивала нам театры, втянув в дело и старших, сочинила нам пьесы для этих театров, выдумывала всевозможные игры. Без нее ничто не клеилось. Это был маленький домашний дух, разнообразный, умный и добрый; он обещал быть еще умнее и добрее. Варенька с восторгом узнала о намерении отдать ее в институт; она бредила, как будет много учиться, воображала, что будет хватать с неба звезды. Институт – это уже такое место, где с нею будут говорить много-много, все хорошее и дельное, и где сама она будет много говорить. Счастливое, любимое и любящее дитя, Варенька все-таки торопила отца и мать отвезти ее поскорее. Она обещала, даже побожилась непременно выйти первой, то есть достигнуть того горнего места, где теперь заседала. Это не было ни педантство, ни гордость. Вареньке хотелось быть первой, потому что, как говорила она, первая бесспорно уже все знает и у нее все добродетели, – а это так хорошо!

– Il faut écouter le maître, mademoiselle, – повторили мне.

Я было загляделась на Вареньку. Клочок ее розового платица весело алел на солнце – платице мне знакомое... Как бы с ней уйти? Кругом все серьезные лица и никому до нас дела...

Но первая ученица, m-lle Мезенцева, начала что-то громко читать. Варенька приклеилась к ее локтю и раскрыла рот. Это было сочинение на заданную тему: «Бегство Наполеона из России». Потом кто-то прочел наизусть: «Везувий пламень изрыгает». Пробило двенадцать часов, в коридоре зазвонили к обеду, учитель встал, и все за скамейками ему присели. Классная дама скомандовала «par paires» (парами (фр.)). Мне проделали руку под руку моей соседки...

Я решительно была в полусне и все молчала. Зато Варенька моя была как дома. Ей, казалось, и тепло, и привольно. Она вскочила с лавки, поцеловала меня, потом бросилась и облобызала классную даму. Удивленная дама улыбнулась и поставила ее в пару. После я узнала, что она точно так же облобызала и директрису, и поручила ей, ей самой, чтобы пирожки и пряники, привезенные Варенькой из дома, были отнесены в тот дортуар, где Вареньке назначат спать. Затем она опять повисла у директрисы на шее. Только позднее, когда Варенька стала институткой, она поняла, какие натворила беззакония...

За обедом нас посадили возле классной дамы. Я ничего не ела; Варенька кушала с аппетитом. Она бойко рассказывала классной даме о своих родных, хотя ее не расспрашивали. Дама только слушала снисходительно, а Варенька смотрела ей в глаза, будто ожидая, что вот ее сейчас уже чему-нибудь научат. После обеда нас повели в рекреационную залу. Это была огромная комната, совсем пустая, с двумя, тремя скамейками, к которым допускались только не совсем здоровые девицы. Вареньку обступили. Она была такая хорошенькая и любопытная, что к кружку подошли и другие классные дамы. Они смотрели на Вареньку, на эту невоспитанную юность со сдержанною ужимкой, которую я поняла только в последствии, когда у меня самой явилась такая же ужимка, когда я оценила превосходство институтской *manière d'être* и совершенства автоматической выправки... Варенька казалась теперь маленькою шутихой. Она, моя голубушка, так и тараторила. Ей очень не понравилось сочинение первой ученицы в

еще менее объяснения учителя, и поймав эту первую ученицу, она выражала свое мнение: – «Что такое вы написали: “подъяв свое победоносное оружие!” Мне кажется, это тяжело написано. А учитель еще приказал, напишите: сей великий полководец, а не этот великий полководец... Сей... Я читала в одном журнале, уже нынче не пишут, не хорошо...»

М-Ше Мизинцева презрительно не отвечала; ей было шестнадцать лет, и она уже заранее, как и вся «первая лавка» была, зачесана не в косички, а почетно в косу, предвестницу старшего класса. На первый раз Вареньке спустили. Она, однако, не унималась. Рядом с ней что-то заговорили две воспитанницы, и должно быть, интересное, потому что Варенька так к ним и кинулась. «Ах, что вы сказали, повторите!» Ей не повторили, но я тоже услышала эти фразы, и мне с новинки показалось дико. Девицы говорили о предметах своего обожания. Одна сказала: «elle est belle comme, je ne sais, царица»; а другая: «je l'aime comme, je ne sais, херувим...» Дело в том, что русское слово сильнее выражает качество, а чтоб иметь право употребить его, надо было непременно оговориться словами: «je ne sais», иначе вам передавали картонный язык за нарушение приказа говорить по-французски. Когда я стала сама говорить такие вещи, я употребляла только один диалект. Может быть похвалы выходили и слабее, за то безопаснее... Язык на моей спине производил на меня ощущение ползущего таракана...

Улучив минуту в вечернюю рекреацию, я шепнула Вареньке, как я рада, что мы вместе, и ни с кем не будем связываться. Она меня немножко задушила (целуя, она имела привычку немножко душить), но сказала с восхищением: «Зачем же нам сидеть одним. Я хочу быть со всеми, это будут все мои друзья, непременно...» И когда мы пришли спать в дортуар, помолились и разделись, Варенька пошла с поцелуями ко всем девицам по очереди. Дортуарная служанка отдала Вареньке ее пирожки и пряники; она разложила их по табуретам всех девиц. Девицы тихонько засмеялись, поблагодарили и сели. Эта гастрономическая нежность ко всем, без исключения, и душевные излияния, казалось, были не совсем в нравах жителей... Варенька все просила о дружбе.

– Но ведь вы останетесь в маленьком классе, какая же дружба? – сказала ей наконец одна девица, тоном неопровержимого отказа.

С Вареньки, вообще, скоро сбили спесь и веселье. На другой день нас повели в закройную и одели в камлотовые платья. Маленькая оригинальная личность моей кузиночки стала стираться в одну общую форменную краску...

До устройства будущего маленького класса, то есть до перехода настоящего в старший, мы, новенькие, были под надзором его классных дам, сидели в его отделениях, спали в его дортуарах. Уроков нам почти не задавали; учителя не обращались к нам с вопросами. Нас отдали в распоряжение первым ученицам. В свободные «перемены» они обязаны были занимать нас диктовкой, и по мелочи, вопросами из разных предметов. Та, которой меня поручили, была девушка по шестнадцатому году, красавица. Она принялась учить меня с покровительственным тоном, который очень шел к ее изящной холодной наружности. Я ее невзлюбила. Хотя у меня не было Варенькиных претензий на братство, нежность и ласки, но все же я была так глупа, что вертелась волчком, от серьезных минок моей учительницы. Мы, маленькие, еще не понимали магического слова: «скоро быть большой». Заплесть волосы в одну косу, знать две косички только как наказание, выйти из *morveuses*, не знать презренного угла, угрозы розгой (впрочем, никогда невиданной), – да тут поднимаешься на три аршина! Как с такой высоты смотреть на крошечный мирок, где девчонкам шьют платья нарост, со складочкой, где непокорные ноги топчут башмаки набок, а удлиняющиеся руки то и дело требуют новых холщевых перчаток?... Взрослые девицы поселили в нас, наконец, должный страх и уважение. И Варенька присмирела так, что в одном горестном обстоятельстве, при всей правоте своей, даже не возвысила голоса. Обстоятельство это поразило Вареньку в самое сердце. У нее похитили книжки. Варенька привезла с собой какие то хорошенькие, в прелестных переплетах. Одну книжку попросили дать прочесть; Варенька дала. Книжка не возвратилась. Затем из табурета

в дортуаре унесли и другие. Варенька видела и книжки, и свою злодейку; издали, несмелым шагом, и ломая свои маленькие пальчики, следила она по рекреационной зале за злодейкой. Та видела Вареньку, но Варенька промолчала. Книжки так и пропали.

Помню, что об эту самую пору совершила я свой первый подвиг, или, вернее, вдруг показала неожиданную прыть. Сама не понимаю, как это со мной случилось. Две недели я была как сонная, двигалась и раскрывала рот только по необходимости, и не чувствовала никаких самолюбивых поползновений явить перед институтом черты моего характера. Несмотря на то, в мою голову села дурь. Она села с первого дня, и мучила меня. Мне было досадно, зачем кругом такая тишина. Тихо так, что душно, что почти физически тошно... Когда же будет шум? Утром встанем – говорим тихо; помолимся богу, позавтракаем – тихо; там учитель – опять тишина. Парами ведут к обеду – молчи; за обедом говорят вполголоса. После обеда, положим, рекреация, но не кричат, не хохочут, а более идет шуршанье ногами; там опять учитель до пяти часов; с пяти до шести хотя и рекреация, но, должно быть, тоже нельзя шуметь слишком много, пепиньерка напоминает: «*Pas autant de bruit, mademoiselles...*» (Не так шумно, барышни...) С шести до ужина приготовление уроков, и больше шепотом; в восемь ужин, и поведут безмолвными парами. А там и спать ложись, и наступит тишина мертвая.

Я думала, думала, и вдруг протестовала. Нас вели спать, мы выступали на цыпочках. Классная дама была сердита и шикала. В дверях дортуара сделалось маленькое замешательство. На нас еще шикнули. Тогда я опустила голову и стукнула в пол ногою, что было мочи. Эхо прокатилось по коридору...

После молитвы начался разбор... Никто не заметил, что козья выходка была моя, никто меня не выдал. Все отпирались и я отперлась. Классная дама грозила поставить нас на колени до полуночи. Она ушла к себе, а мы ждали приговора. Я начала дремать стоя, и совесть не мучила меня за безвинных. Должно быть, классной даме самой наконец захотелось спать. Не добившись правды, она выслала нам приказ, чтоб и мы ложились. Я заснула приятнее всех дней, будто сделала доброе дело.

Припоминаю этот случай, образчик того, как мои душевные побуждения сбились с толку. Позднее, таких случаев было много...

Наконец, нам дали простор. После недели экзамена, девиц перевели; опустелые скамьи маленького класса, по всем отделениям стали быстро наполняться вновь приезжими. Образовался новый мирок из разных племен, наречий, состояний, и как в каждом вновь создающемся мирке, в нем шла неурядица. Боролись чувства, кипели страсти – но недолго. Классные дамы, собравшись с новыми силами, скоро привели его в гармонию.

Передо мной, как в тумане, проходят наши маленькие лица... Вот и моя скамейка, и мои соседки...

Вот дочка непременно рачительных, зажиточных, но строгих родителей; она причесана волосок к волоску. Платице темненькое, под душку, приседает хоть неловко, но почтительно, смотрит, если не со смыслом, то послушно. Родители передали классной даме денег на непредвиденные расходы девочки. Девочка знает, сколько их, до копейки, и будет тратить немного и аккуратно, – тратить покуда не на лакомства, а на покупку носового платка, если случится насморк и казенного полотна будет недостаточно. У нее есть и сундучок, прочный, с крепким замком и ключиком. Там щетки, гребенки, мыло, все нероскошное, там наперсток, нитки, иголки, чтобы не сметь одолжаться пустяками, потому что стыдно. Девочка так сначала и смотрит, что не одолжится. Вот уроженки Москвы, но у них непременно есть сытная, степная деревня, они не из «тонного» семейства; все это видно с первого взгляда: барышни полные, высокие, краснощекие, одеты по замоскворецкой моде. Маменька их такая же, только покрупнее; манеры у нее размашистые. Дома у них, верно, много шуму и даже крупной брани, но семейство от этого только здоровеет. Маменька будет ездить часто, и в залу, и к классной даме, и в неприятные дни; дочки не будут ее стыдиться (как это зачастую бывает в институте);

маменька так непоколебимо и независимо смотрит с своими манерами, не признает необходимости быть потише, что покорит даже деликатные нервы классной дамы. Здоровье и безмятежность еще долго продержатся на лицах барышень. Вот еще здоровая и богатая, но это уже совсем степная. Она из многочисленного семейства, где предположили сбыть с рук одну, и чтобы в семье была одна воспитанная. Она смотрит так, что долго не поймет никакой науки. После обеда она грустно обводит глазами стол, будто ищет пирожного или лакомства, но не изящного. Корсет вызовет ее первые горькие слезы; назидания классной дамы покуда отскакивают от нее, как от стены горох. Но вот зато сейчас привезли двух очень воспитанных девочек; классная дама тоже засуетилась, и выговаривает их имена Adele и Zina с особенною изысканностью. Это две аристократки; фамилия громкая. Девочки вялые, болезненные; покуда нам будет с ними, наверное, скучно; они станут втихомолку кривляться или сидеть вдвоем, подняв носики... Но это только покуда... Им позволят обедать за лазаретным (хорошим) столом и во время уроков не снимать пелеринки. Маменька их будет видаться с ними у директрисы, а не в приемной; у них знакомые и родственники между членами совета, сенаторами. Сенаторы, приезжая (всегда в обеденное время), потреплют Зину и Адель по плечу, спросят, здорова ли маменька и хороши ли кушанья. Вот и сама маменька входит с директрисой в классную комнату. Дама худая, в шали, гордо-кислая, разоренная аристократка... Богатых аристократических детей в московском институте почти не бывает (при мне, по крайней мере, не было). Такие отдают в петербургский институт, особенно в Смольный, из честолюбивых или блестящих видов. Шестнадцать лет тому назад Москва не была сцеплена с Петербургом железной дорогой, и высокие посетители приезжали к нам очень редко... Аристократка-маменька обводит нас тусклым взглядом. Вот она прошла мимо лавки, сронила тетради, и даже не сказала pardon... Впоследствии Адель и Зина будут немножко стыдиться своей маменьки... Года через полтора им будет особенно неприятно, когда маменька, узнав, что лучший друг Адели и Зины – какая-нибудь «mlle Кривухина из Сувалок», сделает дочерям кислую гримасу... Рядом с Зиной и Аделью сидит девочка. Она красавица, одета от Рене, и в прелестных ботиночках. На первых порах кажется, нам не будет от нее житья. Она капризница, избалованная, у нее нет старших, кроме молодой замужней сестры, она выгнала из дома десяток гувернанток, институт она уже бранит, она брезглива, у нее все одно слово: *détestable* (отвратительный, гнусный – фр.). Она не проживет у нас долго, а если проживет, то до конца останется сама собой; ее уже не переделаешь. Это будет наша мучительница, она притягивает к себе, потому что она прелесть, мы будем искать ее дружбы, дрожать ее гнева, обожать ее, даром что она маленькая. У нее все каприз: и ее благородное заступничество в общей беде, и презрение к маленьким низостям, и желание учиться, все на минуту, все, покуда не наскучит... Вот она поглядывает на свою соседку слева, поглядывает, как на маленькое животное. Недаром: та всю рекреацию не перестает жевать яблоки, варенные в меду. Можно поручиться, что эта девочка – единственная внучка у богатой бабушки, сирота, и жила под бабушкиною кацавейкой. Старуху едва не стукнул паралич в день отправления внучки. Она с своею Алефтиночкой снарядила в институт и няньку, а в комнату классной дамы снесли целые кульки съестного и вручили ей письмо старухи, писанное крючками, чтобы при Алефтиночке оставили няню и больше кормили ее, сироту божию. Алефтиночка ест и плачет; она выйдет из института, не смекнув, зачем ее отдавали. А покуда ее отведут в седьмое отделение, начинать азбуку.



Москва в XIX веке

Вот еще две-три генеральские дочки, еще несколько дочек богатых помещиков и значительных чиновников. Их будут часто навещать, у них не прервется связь с родным гнездом. То дяденька и тетенька, то кузены и кузины, то посторонние привезут конфет, изредка даже светских новостей, рассказов о театрах и т. п. (Светские новости, впрочем, мало нас интересуют.) Любезность этих посетителей к классным дамам смягчает иногда отношения классной дамы к посещаемой институтке и умиротворяет многое. Такие институтки большею частью обожают не институтку, а какого-нибудь далекого, редко выдаемого кузена, или никогда не виданного актера и актрису. Это, может быть, единственные головы у нас, мечтающие (и то весьма слабо) о будущих балах, нарядах, любви и замужестве...

Но вот целые ряды других маленьких личностей... Это существенная часть институтского населения. Родные этих детей – губернские и департаментские чиновники, гнувшие спину за делом или перед начальником, берущие взятки, чтобы воспитать семейство или откладывающие честную, трудовую копейку; помещики ста душ, а если более, то душ запутанных, заложенных или разоренных; господа в отставке или вдовы с пенсией, учителя гимназий, профессора университетов, обремененные семействами. Все люди, то с колеблющимися средствами к жизни, то хотя прочно, но зато скудно обеспеченные... Эта категория небогатых и скромного происхождения девиц, в сравнении с первой категорией, богатых и знатных, – многочисленна.

Большая часть небогатых родителей редко навещает дочерей. Из губерний далеко; хорошо, если случатся дела в Москве, так заодно. Московским дорого: институт не ближний свет кому, например, из Замоскворечья; в ростепель не выдержит не только карета, но и все выдерживающий ванька. Некоторые же родители просто побаиваются института. Иным помещикам, зажившимся на деревенском просторе, от всего жутко: и швейцар слишком важный барин, и залы такие прибранные, и классная дама будто косится... Другого отца запугает сама дочка: на второй год своего курса она придет в немой ужас, если ее на всю залу назовут «дочуркой» и раскроют для нее широкие объятия. Отцы вообще ездят в институт редко и сидят недолго. Кому некогда, кого (приезжего) затянет опекунский совет и московские веселости, да и вообще, сколько я заметила, отцы у нас не охотники вести беседы с десятилетними или даже

пятнадцатилетними «дочурками». Больше ездят матери и родственницы. Но эти дамы (если они не богатые или не знатные или не были знакомы прежде с институтскими властями) часто совершают эти поездки как подвиг; величие института внушает им робость. В приемные часы они тихонько наговорятся с дочерьми, отклоняют возможность знакомиться с директрисой и с затруднением приступают к знакомству с классными дамами. Очень, очень немногие родители любят институт искренно. От многих после выпуска случалось мне слышать другое...

Но покуда мы, небогатые девочки, вступаем в первый период нашего воспитания, еще не стусеивалось влияние дома, особенности привычек, миниатюрная свобода мнений. Из этой категории небогатых девочек выйдут самые прилежные, едва ли не самые способные к труду; между ними надо искать и самые лучшие характеры. В младенчестве они испытали лишения, но не горькую нужду, убивающую детские силы; они видели нравственные страдания, вытерпели и свою долю страданий. Эти девочки будут у нас самые честные в дружбе, более других самоотверженные; они же сумеют придать нашей жизни разнообразие и прелесть. Это не дело богатых: те большею частью монотонны, тяготятся институтом, это не дело и беднейших.

Вот передо мной и маленькие лица этих беднейших... И сколько, сколько их! Что было исписано просьб под бедными кровлями, что было страха, примут или не примут девочку? Она лишняя; под эту дворянскую кровлей тесно; там, право, нечем жить. Надо выучить дочь; воспитание – кусок хлеба. Вот здесь эти девочки на всевозможных иждивениях... Идет баллотировка, билет не вынул, мать упала сенатору в ноги. Он принял ее дочь на свой счет. Прелестная крошка крестится и смеется; за ней идет другая, тоже крестится и вынимает счастливый билетик... Дома, верно, отслужат молебен. Дом опустел, но зато на шесть лет какая экономия в расходе! Удастся ли в эти шесть лет хоть раз увидеть ребенка?... Иному вряд ли. Иная мать не соберется приехать и к выпуску; благотворители доставят дочь, а бог милостив, и совсем не привезут: дочери посчастливится остаться в пепиньерках...

Нечего делать себе иллюзий; между дворянскими семьями даже шестой книги, этими «сливками» общества, встречается страшнейшая бедность.

Из этого последнего отдела вспоминаются мне оригинальные личности...

Какие уморительные девочки! Вот две сестры – они выросли в походах своих отцов, пехотинцев-майоров; в их приемах есть что-то военное. Вот сибирячка – у нее дикая фамилия, недаром же она из дальних-дальних тундр; она молча дивуется на все, и на себя, что она тут, и на науку, особенно на немецкого учителя и танцевальную учительницу; она долго будет дивиться и, сидя за черным столом (стол ленивцев), может быть, не раз вспомнит свои тундры. Вот дочери привольных садов Малороссии: одна – это ясно – ничего не видала дальше огорода; она, кажется, глазами ищет огорода в классной комнате; ей душно, перо не хочет выводить французских каракуль; лучше бы полазить по лавкам, как, бывало, по деревьям за грушами... Другая – из тихого Конотопа; она глупенькое, но добросердечное дитя; она будет осклабляться, когда мы, злые, подскажем ей в классе вздор; она будет нашею маленькою шутихой, и мы будем ее любить. Вот какая-то грузинская княжна: крошечная, черненькая, коротко стриженная, волосы торчком стоят на маковке: она ничего не смыслит. Но эта девочка откуда? неужели тоже из «сливок» общества? Нет, невозможно, – это из какой-то такой глуши, где живут первобытные люди, где плохо учит сама мать-природа. У нее привычки великороссийских дикарей... Институт может прийти в ужас. Но зачем отчаиваться? все пройдет, и даже лоск наведется. Вот ее слушают две-три бойкие девочки и смеются. Эти смотрят так независимо, так свободно, что на их упрямые натуры потратится много труда...

О бедные наши будущие дриттки, бедные *mauvais sujets*! Где вы теперь? Сколько из вас теперь на свете хороших женщин! Добрые существа, как кротко и беспечно простили вы вашему прошлому!..

В одно утро к нам влетели две бабочки, прелестные, в беленьких платьицах, в розовых газовых шарфиках. Они влетели в один особенно пасмурный день: класс смотрел угрюмо, шла

арифметика; у черной доски стояли две несчастные, без передников – в наказание; они омывали слезами ряды неправильно изображенных триллионов. Под пером раздраженного учителя выводился нуль; классная дама бранилась. Бабочки присели на скамье. Они говорили на неведомом языке (английскому не учили у нас в то время). Взросшие в холе родного дома, бабочки ничего не знали. Бедненькие! Наука показалась им чудовищем, прикосновение грубых одежд помяло им крылышки. Вместо запаха цветов, в столовой (время было постное) встретила их атмосфера копченой селедки. Не прошло и полугода, как наши бабочки улетели обратно. Их взяли потому, что они буквально ничего не могли есть...

Впрочем, такие эфемериды бывали у нас редки. Вообще двенадцатилетним детям, избалованным, в кружевах и бархате и уже светским от пеленок, не место в казенных заведениях; они не выживут. Наш же институт шестнадцать лет тому назад был далеко не роскошен. Он был даже беден в сравнении с другими заведениями. Александринский (впоследствии Николаевский при Воспитательном доме) был перед нашим настоящим дворцом, и отделкой помещения, в хозяйственную часть. Потом здание этого института было обращено в кадетский корпус. Мне удалось быть там. Великолепные коридоры, паркетные полы, бронза... Невольно наVERTывался вопрос: к чему?..

Признаюсь, мне теперь с удовольствием вспоминается тогдашний небогатый вид нашего института. Из всех зал только одна большая приемная была отделана под мрамор с великолепным плафоном, и только она и другая приемная, маленькая, имела паркетные полы. Во всем остальном, громадном здании, полы были или каменные, или крашенные. Зеленые скамейки в классах, подновляемые по временам, были, право, удобны. (При мне, однако, уже их заменили дубовыми, дорогими.) Как залы, так и классы освещались лампами незатейливого фасона; в дортуарах висели с потолка ночники, в виде лодочек. В дортуарах же стояли простые умывальные столы, медные, но удобные; дортуарные служанки приносили воду в жестяных ведрах. Конечно, это патриархально в сравнении с залами, где бронзовые бассейны в миг наполняются водою, но за то не стоило десятков тысяч. Также не было у нас подъемных столов, волшебством подающих блюда из кухни; блюда попросту подавались в кухонное окошко поваром на руки служанок, разносивших кушанье по рефектуару. Конечно, тут не было волшебства, но зато руки опять не стоили десятка тысяч, если не более. За исключением отвратительных каморок, где помещались некоторые наши служанки, в остальном мало что требовало радикальных перемен. Мне кажется, для казенного заведения прежней скромной обстановки было очень достаточно.

У нас могла бы быть другая роскошь, недорогая, но необходимая: библиотека, о которой не было у нас и намека, и хотя бы небольшая коллекция гравюр по стенам. В дортуаре могли бы быть допущены зеркала; мы причесывались перед осколками, привезенными из дома. Наконец – но, быть может, такая мысль преступна – если бы решились отступить хотя немножко от идеала казенной форменности, институт, быть может, оправдал бы для нас название «родного приюта». Не будь этого моря желтой штукатурки, – если бы были стены зеленые, голубые, хоть полосатые, какие угодно, нам было бы как-то теплее, уютнее, глазам нашим было бы веселее. Это, быть может, глупо, но дети – птицы; птицам недаром втыкают в клетку зеленые ветки или красный лоскут... Если бы допустили в дортуарах неслыханную роскошь: свой домашний образец над изголовьем или портрет матери; свои пяльцы где-нибудь в углу, цветочные горшки по окнам, хотя бы мы там вздумали сажать тыкву. Нет сомнения, такие крошечные уступки личным вкусам, проявления личной свободы, привязали бы нас к институтам несравненно больше чем роскошь мраморных лестниц. Полагаю, что роскошь в заведениях имеет отчасти целью привязать нас к ним; ведь там все делается для нас...

Но если чем был точно плох институт, так это пищей. Бабочки наши улетели недаром. Будь мы все бабочки, мы бы также разлетелись. Не то чтобы порции были малы, не то чтобы стол был слишком прост, – у нас готовили скверно. Часто и сама провизия никуда не годи-

лась. Бывали, конечно, исключения, но редко. Я даже радовалась посту, потому что на столе не являлось мясо. Исключая невыразимых груздей, остальное в постные дни было кое-как съедомо. Можно было по крайней мере вдоволь начиниться опятками и клюквенным киселем, или киселем черничным. От последнего весь институт ходил сутки с черными ртами, но это не важность. Зато скоромный стол! Мясо синеватое, жесткое, скорее рваное, чем резаное, печенка под рубленным легким, такого вида на блюде, что и помыслить невозможно; какой-то крупеник, твердо сваленный, часто с горьким маслом; летом творог, редко не горький; каша с рубленным яйцом, холодная, без признаков масла, какую дают индейкам... Стол наш был чрезвычайно разнообразен. Мы не понимали, зачем это разнообразие. Школьный желудок непритворлив, предпочитает пищу несложную, простую, лишь было бы вдоволь и вкусно. Этого-то и не было. Часто мы вставали из-за стола, съевши только кусок хлеба; оловянные, тусклые и уже слишком некрасивые блюда – относились нетронутыми.

Впрочем, иные воспитанницы ели даже всласть и просили прибавки. Они, казалось, никогда не ели подобных прелестей. Мы удивлялись им, а потом, с горя, приступали к тому же... Иногда голод наталкивал нас на поступки не совсем дворянские. Мы крали. За нашим столом (первого отделения старшего класса), на конце, ставили пробную порцию кушанья, на случаи приезда членов. Девушки вольнодумно начали находить, что образчики лучше. И если член не приезжал, образчик съедался, подмененный на собственную порцию... Вообще мы были весьма кротки, не приносили жалоб, и даже любили своего эконома. Этот эконом был веселый старик и, что называется, балагур. Приходя в столовую, он садился с нами, называл всех столбовыми барышнями, помещицами и сам расхваливал свои блюда. Мы у него просили пирожков и картофеля. Пирожки являлись, но скверные (кроме слоеных по воскресеньям), и картофель. Картофель мы ели, остальным нагружали наши громадные, классным дамам неизвестные карманы. Туда же присоединялся черный хлеб, намазанный маслом. Это масло мы сбивали на тарелках из распущенного, подбавив квасу. Черные тартинки тайком подсушивались в дортуарной печке (что иногда сопровождалось угарным чадом), и полдник или таинственный ужин выходил чудесный.

Полдника мы буквально алкали. С утренней булки и чая, т. е. с восьми часов, иногда не пообедав, или проглотив что-нибудь противное, что еще хуже, мы не знали, как дожить до пяти часов вечера. Тут, едва выходил учитель, мы стайей налетали на классную служанку. Она вносила булки. Эти булки (половина хлеба в 5 коп. серебром) съедались мгновенно. Горе той, которая имела неосторожность спросить всю свою булку в утренний завтрак! Она не находила сострадания. Известно, что такое эгоизм голодного: возьмите историю кораблекрушений и других тому подобных несчастий.

Таковы были печали (печали желудка, конечно, но все же уважительные), которые встретили нас при начале нашего поприща...

Маленький класс наполнился; им перешли заведовать те классные дамы, воспитанницы которых только что были выпущены. Учителя проэкзаменовали по отделениям, сочли баллы, и сделали пересадку. Мы разместились. Кузину Вареньку посадили третьей: выше ее были две девушки, оставшиеся в маленьких от прежнего четвертого отделения. Варенька была в восторге. Она потащила на свою высокую скамейку свои книжки, беленькие тетрадки, образок чтобы поставить его в углу пюпитра и целовать перед уроком. Я пошла водворять ее. Но увидав пюпитр, мы обе вскрикнули. Класс сбежался. На закраине пюпитра была огромная дыра; в нее входил целый кулак...

Поверит ли кто-нибудь, чтоб эта дыра была проедена не мышами? Ее проела девушка, ковыряя дерево концом булавки. Щепочки легко отделяются, их глотать удобно. Эта девушка объела точно также стол в лазарете, – в лазарете, куда утром и вечером ездил доктор, где средним числом бывает не более шести-семи больных, в надзор над ними, казалось, был незатруднителен... Обглоданный край стола мы видели собственными глазами...

Еда дряни царствовала при мне во всей силе. Надо отдать справедливость нашим классным дамам: они преследовали ее жестоко. Но, вероятно, против такого зла мало было одних наказаний... Странно, что никто из нас до института не пробовал ничего подобного. Эта еда – изобретение чисто институтское. Всего страннее, что вкус к дряни не прививается от одного подражания: можно один раз проглотить клочок кожного переплета, а на другой выплюнуть; нет, эта еда – неудержимая зараза, страсть, против которой бессильны даже угрозы розог... Печатная бумага, глина, мел (его тоже толкли и нюхали как табак), уголь, и в особенности грифель – все у нас поглощалось. От грифелей, длиною в четверть, к концу месяца после выдачи, часто не оставалось ничего. Лакомки брали у неевших, и отламывали углы своих грифельных досок. Ели просто для еды, потому что находили вкусными; очень немногие с целью приобрести интересную бледность. Кокетство пришло к нам позднее, едва ли не перед выпуском, а есть мы принялись с первого дня. Страшно вспомнить, какие были между нами зеленые лица. Страшно вспомнить, как умерла одна – ее задушил грифель... Да и вообще цветущее здоровье было у нас редкостью. Невнимание ли классных дам, дурные ли корсеты, только у нас вышло множество кривобоких. Иные, розовые и толстенные девочки, принимались расти болезненно и вяло, у многих к выпуску от когда-то пышных волос едва оставались жиденькие пряди. Мы дурнели и худели. Причин и без дряни было много. Иных буквально сжимал и заедал страх, на других нападало отчаяние. Одна девушка, особенно мрачного характера, пила у нас уксус. Она тихонько покупала бутылки самого крепкого и пила стаканами. Ей хотелось умереть, потому что в институте было ей тошно, да и на свете, должно быть, везде было ей тошно... Помню, ее пример увлекал. Она еще выдумала, что если есть много апельсиновых и лимонных зерен, то скоро умрешь. Апельсинов родные привозили мало, но попробовать хотелось. Даже и веселые девочки пробовали... Для юности в ранней смерти есть что-то заманчивое. Умереть в шестнадцать лет, – это так интересно! Институтская церковь полна; подруги, рыдая, поют панихиду; злая классная дама стоит и кается, а сама лежишь в гробу, в цветах, красавицей... Лежишь и глазком выглядываешь, что такое кругом... А там уже опять как-нибудь жива, но дома, или где-то на земле...

Мы мечтали, а лакомая дрянь помогала не на шутку. И ели ее вовсе не дуры-девочки, ели и умные. Месяц спустя после приезда Варя, даже моя Варя, лизнула запретных конфеток. Она сделала мешок из бумаги, набила его толченым мелом и стала купать в нем носик как в листьях розы. Слава Богу, впрочем, она скоро одумалась. Через неделю ей показалось это глупо. За ней бросили еще две-три. Их поймала пепиньерка, да еще пригрозила нам одною неизбежною бедою...

Эта беда чуялась нам как-то грозно и неумолимо. Она должна была прийти к нам скоро, в образе нашей классной дамы, Анны Степановны. Анна Степановна была больна; она заболела еще до выпуска своего старшего отделения, после которого по очереди должна была достаться нам, четвертому отделению. Покуда ее заменяла у нас пепиньерка, дежуря поочередно с другою нашею классною дамой, Вильгельминой Ивановной. Я была в дортуаре Вильгельмины Ивановны. Дортуар Анны Степановны ожидал своей начальницы. Дортуар – это половина отделения, и заведующая им классная дама имеет над ним непосредственную власть. Нравственность девиц, их занятия, их здоровье состоят на особой ответственности дамы дортуара. Можно сказать, что от этой ближайшей начальницы зависит вся судьба девочки.

Нам много шептали об Анне Степановне. Нельзя вообразить, какой сердечный трепет навели эти рассказы на тех особенно, кто должен был поступить в ее дортуар. Варенька попала туда. Она очень приуныла. Вообще, выражение ее лица неузнаваемо изменилось в короткое время... Наконец, в одно утро, нам объявили, что Анна Степановна вступает в должность. Она заняла свою комнату подле дортуара, до тех пор пустую, и запертая дверь ее внушала нам таинственный ужас...

После вечерней молитвы эта дверь отворилась. Там видна была синенькая мебель, стол да этажерки, ничего особенного, но у многих девиц побелели губы. Мы ждали, стоя в рядах. Из комнаты приносился острый запах какого-то лекарства. Что-то шевельнулось... и наконец тихо на пороге показалась фигура в темном капоте. Лицо ее мы не могли, не смели рассмотреть. Фигура подошла. В руках ее был список ее дортуара. Она вызывала поименно своих, взглядывала им в глаза, потом наклоном головы возвращала каждую девицу на ее место. Губы ее были сжаты, щеки желчного цвета, блестящие карие глаза смотрели исподлобья, хотя были посажены так, что могли смотреть прямо. Кончив, она отошла на два шага, с неудавшимся величием, и произнесла: «je verrai voire condhaite» (Я буду следить за вашим поведением (*фр.*)).

Общий книксен, и двери затворились.

Впечатление было произведено...

Не могу иначе назвать это время, как «похоронным». Выражение неверно, но оно явилось тогда в уме, и удержалось в нем на веки. Точно мы кого-то похоронили, или нас похоронили... В глубине прошедшего мелькают мрачные дни и наши убитые страхом лица. Страх напал на богатых и бедных, на робких и строптивых, он уравнил всех, и в общем бедствии мы стали подавать друг другу руку. Вот начало нашей дружбы: она расцвела среди гонений...

Детство все преувеличивает, но тут желание гнать нас было очевидно. Мы видели, что Анна Степановна торжествовала, когда весь класс сидел, не смея возвесть очи; она, конечно, должна была понимать, что делалось в это время с нашими сердцами и внутренностями...



Канцелярия. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

Она, конечно, нас не била, и не бог весть как бранила. Но ее физиономия и тон имели способность уничтожающую. Довольно было этой физиономии, чтоб убить в зародыше самое малое покушение на шалость. Мы и не шалили. Не помню, чтобы в продолжение этих первых месяцев в институте кто-нибудь у нас точно провинился. Тем не менее Анна Степановна так и сыпала наказаниями.

Мы думали, нет злее женщины в мире. Позднее мы поняли ее иначе, но еще хуже. Приговоры наши были страшны...

Анна Степановна доводила нас в особенности «тишиной». Чуть шорох или смех в классе, и виновная уже у черной доски; слово в оправдание, и она без передника; шепот неудовольствия – и весь класс «debout» (стоя (фр.) или без обеда. Начинается грозный разбор; Анна Степановна не возвышает голоса; она больше глядит и ждет... о, лучше бы, кажется, умереть!..

Чтобы соблюсти ту тишину, которой хотелось Анне Степановне, надо было родиться истуканом. Особенно было тяжело, когда мы ложились спать: тут-то бы и хотелось поговорить друг с другом, на просторе. Рекреаций мы не любили; во время рекреаций надо непременно ходить, и все спешат выучить урок к послеобеденным или завтрашним «переменам»; да тут же и она, сама Анна Степановна; не побранишь ее, не облегчишь сердца. Но в дортуаре ужасно... Рядом она отворила свою дверь и ждет, чтобы в секунду водворилось гробовое безмолвие. Раз мы засмеялись, раздевая друг друга... Тогда, как стоял ряд, так его и повалили на колени, как картонных солдатиков. На коленях простояли до полуночи...

Страх наш начал принимать колорит фантастический. Кто, например, видел тень Анны Степановны, блуждавшую по дортуару среди ночного мрака; кто утверждал, что Анну Степановну посещают видения, три черные кошки. Варенька не верила, но трусила не хуже других; она просто терялась. Раз она уже совсем легла в постель, когда Анна Степановна кликнула ее взять шпильки и булавки, чтобы раздать девицам. Варенька влетела к ней как была, даже без башмаков. Это не помешало, однако, Вареньке сделать книксен...

Другие отделения нам не завидовали, конечно. У них житье было гораздо лучше, и если подчас не доставало справедливости в толку, за то не было такого удушья. Их классные дамы ставили нас в пример своим, но не пускались в рабское подражание. Быть может, сердца их были даже тронуты зрелищем наших бедствий, но ни одна не решилась на дружеский совет Анне Степановне. Дружбы между нашими классными дамами не было; случалась скорее вражда. В свободные от дежурства дни они не собирались между собою потолковать о живом мире, который не совсем был заперт от их глаз. Дежуря через день, каждая дама половину года была почти свободна. У иных было даже большое знакомство, а молодые не лишались удовольствия поплясать где-нибудь на бале... Но ни внешний мир, ни институтские интересы, ничто не сближало наших дам; большая часть их предпочитала жить особняком, избегая интимности, держалась как-то странно настороже и будто сберегая друг против друга камень за пазухой...

Зачем? Ни зависть, ни самолюбие, ни честолюбие, ничто не могло служить тому побудительною причиной. Классной даме нечем было отличиться; классной даме не было повышений, ни каких-нибудь особенных льгот; наконец, сколько я помню, ни одна из них не заискивала и любви директрисы. Любовь эта могла быть только бесплодною, значит, не о чем было хлопотать; к тому же они хорошо знали директрису, равнодушную к ним до некоторого презрения...

Не думаю также, чтобы наши классные дамы скрытничали друг от друга из необходимости скрытничать. Поведение их было безукоризненно, и если кто из нас увлекался впоследствии, тот не мог сослаться на пример своих классных дам. Бывали, пожалуй, у них уклонения, но или пустые, или глупые... Чего-нибудь более серьезного институтские стены не видали в мое время... И наконец, наши классные дамы были большею частию или стары, или дурны.

Однако они все же не ладили. Нам, конечно, до этого не было никакого дела, лишь бы с нами обходились милостиво. Но так как все они, в большей или меньшей мере, держались системы безгласия, делали из мухи слова или пребывали в олимпийской недоступности, то немногие и были любимы, и то немногими...

Наша неприязнь, должно быть, мало их огорчала. Наши классные дамы были только институтские дамы, а не воспитательницы. Ни одна, сколько я помню их теперь, не поступила к нам по призванию. С небольшими исключениями все даже были очень плохо образованны; были даже крайне тупоумные дамы. Такие ломили, как говорится, зря, наказывали нынче за

то, что спускали вчера, сбивали с толку, и получали название индюшек за выражение, которое принимали их лица в минуту гнева. Детство чутко; их мало боялись, и под надзором этих дам выросли более независимые характеры. В пятом отделении была классная дама кислейшей наружности и кислейшего характера. Пятнадцать лет она подвизалась на своем поприще. Быть может, когда-нибудь она была образованна, но с тех пор как выучилась, не сочла нужным идти вперед ни для себя, ни для своих учениц, которым помощь классных дам при повторении или приготовлении уроков была бы необходима. Может быть, прежде она усердно исполняла свою обязанность; умная и справедливая, может быть, сформировала несколько твердых и честных характеров, и наказания ее точно приносили пользу. И теперь еще можно было видеть, что она бывала когда-то справедлива. Но дама соскучилась. За стенами института у нее не было знакомой души. Она обленилась и устала. Она, видимо, только дотягивала до полного пансиона, чтоб уйти, может быть, в монастырь, и доживать на покое. Лицо ее наводило скуку. Она не придиралась к пустякам, но дежурила как-то нетерпеливо, чтобы поскорее отделаться от дневной работы. Ее уважали, но и только.

Ее сослуживицу по отделению тоже уважали. Она была еще молода и воспитанна, но какая-то сухость сердца или нежелание немножко сблизиться с нами, ставили между нею и ученицами постоянную преграду. Ее наставления не трогали. «Дортуар» был для нее что-то постороннее, содержимое в порядке и вежливо, уважаемое в массе, но не более. И то уже было хорошо.

В третьем отделении, у старших, дежурили две противоположности: шестидесятилетняя старуха и двадцатипятилетняя молодая девушка. Старуха давно получила полный пансион и неизвестно зачем заживала в институте чужое место. Она только брюзжала. Вставать в семь часов и быть на вытяжке до восьми вечера было ей не по силам. Когда она вела парами своих, быстрые шаги девиц подкашивали ее выплывавшую впереди фигуру. Над нею глупо школьничали, наливали воды в ридикюль и чуть не прикалывали бумажек. Старуха часто хворала. Другая, молодая, была очень хорошенькая девушка, очень бедная, и только начинала свою карьеру. Ей гораздо больше хотелось выйти замуж. Эти невинные и очень понятные хлопоты продолжались все шесть лет, покуда я была в институте. Мне грустно о ней вспомнить... Она правила дортуаром скрепя сердце, и была аккуратна, чтобы не потерять места. Собственные интересы заметно ее мучили. На дортуар свой она глядела немного желчно, – она видела в нем существа, которые скоро будут на свободе, и иногда немножко свысока, чтоб отвести душу хоть в проявлении власти...

Наша Вильгельмина Ивановна была добрая женщина, но немного ограниченная. Она часто ни с того ни с сего принималась злобствовать вроде Анны Степановны, что вовсе не шло к ее смиренной физиономии. Но это сходило с нее скоро. Она, кажется, сама недоумевала, зачем надо быть строгою, и не умела отвязаться от этой будто бы неизбежности. У нее и выражение, и манеры были какие-то свои домашние, а не казенные. Иногда она была вовсе мила, вовсе запросто, и какое-то материнское чувство проглядывало в ее глазах. Заболевшая девица была для Вильгельмины Ивановны не субъект, который надо отправить в лазарет, и только; Вильгельмина Ивановна страдала за нее и тормозилась, как бы скорее помочь. В дортуаре своем она имела фавориток. Мы прощали ей это пристрастие, потому что в нем было безотчетное искреннее чувство, без всякой тени какой-нибудь корыстной причины. Фавориток своих она даже баловала. Она зазывала их к себе в комнату, и там, за перегородкой, у постели, где потеплее и потеснее, стоял самовар и разные сласти. Она любила покормить как барыня-помещица. Тут девушки болтали всякий вздор; из памяти исчезали желтые стены, разница лет и положения. Они даже целовали Вильгельмину Ивановну. На ее глазах бывали слезы...

Но Вильгельмина Ивановна была единственная. К сожалению, впечатление ее ласки скоро проходило, – и не далее, как на другой же день, когда Вильгельмина Ивановна, вся пунцовая, принималась кричать на весь класс и решительно без цели...

А наша Анна Степановна? А другие, и еще другие?..

Да что же было с них и взыскивать? Разве добрая воля привела их под институтскую кровлю? Всех привела нужда. Конечно, очень многие свыклись потом с своею профессией, даже привязались к ней, но все равно исполняли ее дурно. Трудно было и выполнять ее иначе. Двадцать лет назад не очень многие понимали, что такое должно быть воспитание... В казенных заведениях отсталые понятия передавались из рода в род; вновь поступающие классные дамы принимали эти понятия совсем готовыми и усваивали их легко, потому что они были удобны. Чинность, безгласие, наружная добропорядочность и повиновение во что бы то ни стало – вот качества, которых можно добиться от подчиненных только вооруженною силой. Быть вооруженным очень приятно, и к тому же, добиваясь таких результатов, власть остается спокойна и умом, и сердцем.

Не думаю, чтоб учредители института имели цель образовать в нас только эти качества. Отчасти, может быть, но не в такой уродливой мере. Классные дамы злоупотребляли, директриса не доглядывала. Никто не чувствовал потребности изменений в этой мертвой среде, никто не искал лучшего.

Одна любовь творит чудеса, живет то, что ее окружает; она одна, лучше всякого мудреца, умеет найти, что нужно: то простое слово, тот склад отношений, которые воспитывают молодую душу в добре и свободе. Но требовать любви от классных дам было бы нелепо. Где эти обширные сердца с запасом любви на шестьдесят человек или, по меньшей мере, на тридцать (то есть на воспитанниц всего дортуара)? За неимением таких в природе институтское начальство, конечно, их не ищет.

Если это было невозможно, то было возможно другое: женщина, человечески образованная, понимающая, что придирчивость только роняет кредит власти, а преследование мелочей глупо, – понимающая, одним словом, что власть страшно обязывает, а не дается для самоупоевания, – женщина пытливая, для которой любопытно видеть рост детского ума и приятно направлять его во имя здравого смысла.

Но где же двадцать лет тому назад были у нас такие женщины-воспитательницы по праву и по призванию? Много ли их и теперь?..

Черты женщин любящих и женщин умных попадались и между нашими классными дамами, но только черты микроскопические. У них недоставало главного: чувства долга, который сказал бы им, что пора оставить заведение, когда ослабели нравственные и физические силы, или когда каждый собственный шаг ясно говорит им, что они не способны занимать свое место.

Но до такого самопознания, до такого самоотвержения общество не доросло и теперь. Классные дамы наши были не виноваты.

Теперь, пожив на свете, мы, воспитанницы, прощаем им многое, почти все, объясняя их нравы духом времени. Но тогда мы решительно не прощали... Злоба наша изливалась втихомолку, но тем не менее, очень красноречиво. Имена и фамилии классных дам перевертывались на все лады. Эпитеты сыпались, и *vilaine* было самое милостивое.

Узнала ли об этом впоследствии хоть одна классная дама, так, из откровенного разговора с бывшею воспитанницей? Не думаю. Мы выросли такою трусливою мелкотой, а там попали в общество, так мало радеющее о правде, что, конечно, ни одна из нас не отваживалась на слово правды, как бы оно ни было полезно, и даже в том случае, когда сказать это слово можно было с полною безопасностью.

Вспоминается мне наше первое говение вместе. Никогда, в последние годы курса, ни потом, дома, я не была под влиянием такого особенного чувства. Почти весь класс испытывал то же. Серьезный ли характер нашего законоучителя, непривычка ли ответственности за себя (потому что дома казалось еще, что за нас перед Богом отвечали родные), или мрак и грусть, напущенные Анной Степановной, были тому причиной, – не знаю; но только мы каялись, будто

совершили десятки преступлений. Мы даже старались не говорить друг с другом, чтоб не нагрешить еще больше. Нам казалось, наконец, что мы виноваты перед целым миром. Мысленно мы просили прощения у родных; между собой сводили итоги, от похищенной булавки до обидного слова. Но одно затруднение для нашей совести было непреодолимо. Мы не знали, как нам быть с Анной Степановной. Совесть требовала найти в себе преступление и против Анны Степановны, а между тем искать его как-то не хотелось, и стыд нас брал, что оно не находилось, стыд за закоснелость души, потому что все же мы, верно, были виноваты перед Анной Степановной... Надо призваться ей, но в чем, – и неужели признаться?.. В таких мучениях приходил и день исповеди, и час исповеди.

Раздавался церковный колокол. Все мы инстинктивно, в раз, поднимались с места. Не помню, чтобы кто-нибудь пожелал отстать и явиться одною с своим «*pardonnez-moi*» перед Анной Степановной. Тесною толпой подходили мы к ее двери, имея самых недовольных и притесненных внутри кружка, где не так видно. Объявить о нашем приходе избиралась девица, что ни есть невиннее и безответнее из всего дортуара.

Анна Степановна выходила. «*Pardonnez-vous*», раздавалось глухо в кружке. «*Que Dieu vous pardonne, mesdemoiselles*». И если ничего больше, какое счастье! Но в этом счастье мы не смели признаться и самим себе. Мы только робко обращали тыл и не озираясь, чтобы как-нибудь не кликнули.

Коллективное раскаяние и прощение снимали тяжесть с души. Значит, так должно было быть, если так было.

Позднее, к пятнадцати годам, молитва наша стала мечтательнее, или восторженнее; раскаяние и прощение «врагу» не просилось наружу из сердца, а как-то застенчиво оставалось в глубине его; взамен слов явились слезы, но нервные, горячие, неопределенные. Мы пролили их много перед образом Спасителя, в церкви, покуда, бывало, стоишь и ждешь своей очереди; а там, у противоположного окна, за ширмами, где священник, идет тихая исповедь.

К шестнадцати годам, многое изменилось. «*Pardon*» у дверей стал почти простым обрядом, и мурашки уже не бегали по плечам от страха погони. Наконец, молитва приняла совсем институтскую складку. Перед исповедью мы стали записывать грехи на бумажке и твердить, как уроки. «*Mesdames*, дайте списать грешков, я свои забыла», слышалось со всех сторон, в то время как благовестил колокол.

Это было искренно и, быть может, даже очень трогательно; но, мне кажется, в детстве было лучше. В детстве, кроме времени говения, бывали иногда просто случаи, которые вызывали такую потребность раскаяния, на какую уже неспособен немного взрослый человек. Вот один случай: свое покаяние рассказывала нам потом наша первая ученица, оставшаяся от предыдущего класса.

Раз, в институте, произошло следующее. Был большой праздник, Рождество Христово, и, по правилу заведения, институтки проводили его в дортуарах. Три дня в дортуаре и полнейшая свобода – какое счастье может с этим сравниться? Было шумно, лакомств было вволю; к довершению прелести вечера и рассказы нашлись самые святочные. Только неделю перед тем умерла в институте одна старая дама, бывшая распорядительница в классе вышиванья. Она давно не служила, и жила у дочери, своей преемницы по классу. Покойницу отпевали в институтской церкви, и, говорят, мертвая была очень страшна. Так эту-то покойницу видели накануне Рождества. Она прошла по хорам церкви, оттуда по хорам приемной залы и там во что-то обернулась. Кто видел, еще не знали, но происшествие комментировалось под звуки приятного шелканья кедровых орешков во всех углах дортуара. Беседа лилась, когда совсем неожиданно ее прервали.

– *Par paires*, ко всенощной, – скомандовала, входя, классная дама.

А сказали, что будет заутреня, в шесть часов утра. Неохотно все встали и пошли молиться.

Молились что-то долго, будто гораздо дольше обыкновенного. Дьячок уныло тянул на клиросе, свечи что-то плохо горели; в лазарете били часы протяжно, долго... а всенощная была только в половине.

Вдруг раздался крик, страшный, неестественный, и кто-то в дальних рядах грянулся об пол. Секунда тишины, и закричали все. Все заволновалось, заметалось, ряды бросились на ряды, толкаясь, сшибая с ног, падая грудами, задыхаясь в ужасе... Бледные лица, растерянные башмаки, крики: «пожар, покойница, светопреставление!» Кто-то влетел на клирос, хочет в алтарь, дьячок хватает ее за косички; кто-то со стоном бьется под десятками тел; швейцары держат дверь у входа в залу, там приезжие. Побежали за директрисой, из лазарета ташат воду. Вышел священник с крестом: «Мир вам, мир вам». Понемногу все утихает, становятся в ряды, и тихо, еще дрожа, идут прикладываться к Евангелию.

Но что ж было такое, что видели? Да ничего: просто, одной ученице сделалось дурно... Панический страх.

Всенощная кончилась, и пошли ужинать. Тут уже все, опомнясь, понурили головы. Никто не тронул ни одного блюда. Молчание в столовой было торжественное, все чего-то ждали. Наконец в дверях засуетился эконо́м и полицеймейстер. Зашелестело платье, и директриса вошла.

На лавках встают; тишина мертвая.

– Кто осмелится сказать хоть слово своим родным о том, что произошло, тот будет высечен, говорит директриса громовым голосом, по-французски. – С завтрашнего дня все по классам, и берегитесь у меня, вы!

Еще грозный жест, и она удаляется.

Институтские стены тонки, и тайна вылетела. Родные смеялись, как обыкновенно смеются над стадом баранов. Но «беда», в глубине институтских сердец, была понята иначе, по крайней мере очень многими. Что там, «la verge»? Что даже в самое торчанье в пустых классах, за уроком, в святки? Дело не в том. Вина перед Богом, искушение, и грех-то, грех-то какой, еще в церкви!

Многие наложили на себя обеты, кто земные поклоны, кто воздержание от страстей (то есть брани на классную даму). Ученица, которая рассказывала нам это происшествие, каялась тоже. Она отверглась земных благ. Ей к святкам прислали крымских яблок. Она сложила их в передних, и, как преступница и недостойная, отнесла истопнику, даже избегая благодарного взора.

...Первый светлый праздник в институте я провела очень скучно. Родные мои были далеко, Варенькины – тоже. И другим, сколько я помню, было не веселее. Все мы смотрели какими-то одичалыми птицами, еще не спевшимися друг с другом, сидели по дортуарам и ничего не делали. В дортуаре Анны Степановны было несносно. Хотя по закону была позволена полная свобода, но там никто ею не пользовался. Дверь Анны Степановны стояла настежь, и она слышала все, до невинного желанья яйца вкрутую. Зная это, воспитанницы ее предпочитали сидеть тихонько, каждая на своем табурете у кровати, и рыться в каких-нибудь пустячках, то есть лентах, коробочках в перстеньках, привезенных из дому, и грустно ненужных теперь.

У вас, то есть у Вильгельмины Ивановны сравнительно было гораздо веселее. Она затворяла свои двери, и мы праздновали на покое. Всякий делал что хотел. Иные, находя что лучшее дело – сон, спали целый день без просыпу. Другие, усевшись по окнам, глазели на двор, пустой, облитый весенним солнцем, и слушали далекий праздничный трезвон; третьи, от нечего делать, только ели. Многие счастливицы ждали, что к вечеру приедут их родные. В ожидании шли кое-какие разговоры...

Только не о родных, не о недавней жизни дома. Странно, я не помню, чтобы мы расспрашивали друг у друга о своих биографиях, о биографиях наших семейств, чтоб это особенно вас интересовало. Всю прежнюю жизнь мы больше оставляли про себя, и если память о ней

вырывалась вслух, то только отрывками. Самое чувство прежних привязанностей как-то уходило в глубь души, смятое, в день ото дня у многих теряло свою живучесть. Оно глохло, как глохнет выющееся растение, которому не к чему лепиться... Притом молодость, а особенно детство любит жить не прошедшим, и не тем, чего уже нет на глазах, а настоящим, какое бы оно ни было... Мы и говорили о настоящем.

Помню, как один раз зашла к нам Варенька. Без книг, без дела, как-то разом лишившись всех прежних способностей веселить и веселиться, она бродила, не зная, куда девать руки. Мы предложили ей кулича и загадку, предмет нашего разговора.

– Варенька, что такое: S-deux, D-huit, B-trois? Mesdames, qu'est que c'est M. P. R?

– Laissez-moi en repos, – отвечала одна девица, уткнув нос в подушку, и почему-то обиженная. Последняя загадка относилась к первоначальным буквам ее имени и фамилии.

– Варенька, отгадывай же!

Варенька качала головой.

– Mais ce sont les premières beautés de l'institut! Mesdames, quelle bonté, elle ne sait pas ce que c'est Sdeux!



Дортуар. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.

– Что же тут разгадывать – метки белья! – возразила Варенька. – S – значит дортуар Анны Степановны, deux – номер белья mademoiselle.... я не знаю кого....

– Mesdames, а кто разгадает, что такое t. d. t.? – спросила кто-то. – Пари, что никто!

Вареньке казалось это дико, а мы занимались загадками целый день. Я ломала голову над мудреным шифром, но к ночи разгадала.

– Mesdames, «tablier de tique!» закричала я на весь дортуар, так что на меня даже шикнули....

Страшное слово: «Тиковый» передник было самое крайнее наказание в институте. Кто один раз его заслужил, на том лежала печать отвержения. Об этом переднике говорили только

шепотом. Даже сама Анна Степановна редко грозила нам этою казнью. Говорили нам, что будто бы в одном из предыдущих выпусков надели тиковый передник на девушку, уже кончавшую курс. Она будто бы написала пасквиль, где была обругана классная дама и весь институт. Не знаю, была ли это правда, – дело было давно, и может быть, дошло до нас в неточном виде. Мысль о t. d. t. не дала мне заснуть ночи....

Наши праздничные заседания прерывались прогулками. Так как в начале апреля в саду бывало еще сыро, то вас водили гулять по двору. Это делалось иногда и зимою, в теплые дни. Кругом двора был узкий деревянный тротуар, по которому можно было идти только парами. Мы этого гулянья терпеть не могли, по крайней мере большинство из нас. За чугунною решеткой бывало много приманок. Разносчики и булочники собирались там, ожидая практики. Торговля происходила на ходу. Покуда мы бесконечным хвостом извивались вдоль решетки, пяточки и гривенники летели за нее, и проворные руки подхватывали оттуда серые свертки бумаги, иногда о чем-нибудь несъедобным... Но большинство институток предпочитало спокойный способ покупки чрез верных служительниц дортуара.

Костюм наш во время этих гуляний был уморительный. Кожаные ботинки невероятной толщины, величины и вида; темные салопчики солдатского сукна и фасона, как у богаделенок; коленкоровые шляпки в виде гриба, с огромным коленкоровым махром на маковке. Если бы не этот махор, мы были бы совсем галки. Потом нам сшили что-то поизящнее. И вообще, год от году, при мне все наши туалеты стали заметно улучшаться, и будничные, и праздничные, и бальные.... Ведь у нас тоже бывали балы.

Оркестр, всегда великолепный, и ни одного кавалера, разве-разве два-три кадета из неранжированной роты. Перед выпуском, впрочем, появилось несколько кадетов постарше, из семейства коротко знакомого директрисе. Мы обожали их всех, без исключения. Протанцевать с этою редкостью было счастьем великим. Нетанцующие посетители – три-четыре маменьки, изредка учитель с своими детьми, родственники директрисы, – вот и все. Бальные угощения открывались шоколадом. Два служителя несли его в ведрах, продетых на палки, и в боковой заде шоколад разливался по чашкам. Он был скверный; немногие пили с удовольствием. Пило особенно маленькое шестое отделение, скакавшее всегда свои кадрили в дальнем уголку залы. Вообще мы, маленькие предоставляли более обширное поприще старшему классу....

Помню, что на первом балу у Вареньки случилось огорчение. У нее не было крахмаленной юбки. Казна не отпускала тогда ничего подобного для бального туалета ученицы. Надо было запастись дома или сшить свою. Варенька не сделала ни того, ни другого. Она вошла в залу в виде белой дудочки, перевязанной красною ленточкой. Вошла, и поскорее в уголок. Там было много таких дудочек. Из них одна, самая тоненькая и маленькая, лицом черномазая с торчком волос на маковке, невозмутимо ела свою долю cochonneries. Это была наша грузинская княжна.

– Qu'est ce que c'est, eh, qu'est ce que c'est? вдрызг послышался голос инспектрисы, и рука ее затеребила княжну за пояс.

Кругом привстали.

– Eh, les petites, estce que l'on vient ainsi?... Eh, la Gribkoff, mais allez donc mettre des jupes.... eh, des jupes, les petites. Allez donc!

И она удалилась вперевалку. Девочки прыгнули с мест, и сунулись было в смежную залу, ища юбок.

– Restez, – воротила их сухо классная дама.

Варенька встала тоже, чтоб уйти совсем в дортуар, но ей не позволили....

В этом запросе несуществовавших юбок – вся наша инспектриса. Вообще, я не знаю, что она у нас делала. Хозяйственная часть не лежала на ее ответственности; верховная власть сосредоточивалась в директрисе; за ученьем смотрел инспектор классов; за моралью смотрели классные дамы. Сколько я помню, в мои шесть лет к инспектрисе мало за чем относились.

Суд и расправа обходились без нее; директриса отлучалась редко, и в ее отсутствии ее легко могла бы заменять любая классная дама. Должность ли эта была бесполезна, или инспектриса наша сумела сделать ее бесполезной? Последнее было очевидно. Эта женщина была олицетворение бесполезности. Было ли это скромным желанием стоять в тени перед величием директрисы? Может быть; они ладили, хотя та видимо ее не уважала.... Инспектриса только одним занималась в совершенстве – шиканьем. Она шикала как никто: неистово, со свистом, шикала на нас как на цыплят, не видящих коршуна в поднебесье.... Мы узнавали ее за версту. Каждый день она приходила в класс, при учителе, но никогда не предлагала вопросов. Посидит минутку, посмотрит, кто без передника и в косичках, и уйдет. В рефектуаре она бывало первая, и едва войдут пары, уже кричит: «chantez le Отче наш; les chanteuses, chantez». Тут же так, зря, она усугубляла наказания, уже положенные классными дамами: девиц без передников и в косичках выдвинет к столбам, и пойдет дальше. Особенно ее беспокоила леность. «Eh, vous, les paresseuses, ici....» И paresseuses выступали на середину рефектуара. Там часто воздвигался черный стол, – маленький столик, без салфетки и приборов; на нем черный хлеб и кувшин с водою. Девочки плакали, инспектриса тащила их, суетилась.... Мы заметили, что она особенно любила оказывать эту пользу институту.

Кроме этой инспектрисы, была еще другая, «инспектриса пепиньерок». А число пепиньерок не превышало у нас двенадцати! Дама эта была добрая, но буквально ничего не делала. Пепиньерки тоже ничего не делали, потому что нельзя считать во что-нибудь дежурство от пяти до шести часов вечера, или изредка за больную классную даму, и чрезвычайно редкие классные занятия с девицами.

Инспектриса наблюдала за их поведением. Труд более чем легкий. Для того чтобы в наших крепко запертых стенах могло совершиться что-либо, – надо было, чтобы начальство само потворствовало, или было бы уже совсем слепо....

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.